

Глава 19. Спецпоселение

Уже на следующий день после оформления на работу приступил я к своим бухгалтерским обязанностям. Документация в запущенном состоянии, картотека не велась в течение последних трёх месяцев. Утром приходил к девяти, возвращался к восьми, а иногда к десяти часам вечера. Сам Иван Сергеевич тоже засиживался допоздна, и мы с ним изредка беседовали. Был он коренным сибиряком, откуда-то с Кежмы, членом партии, а его жена – украинкой, из семьи раскулаченных, из-за чего, как он выразился, ему, в свое время, изрядно потрепали нервы. Он, как и я, интересовался политикой, правда, скорее всего, в силу своих партийных обязанностей. Рядом с ним на стене висел репродуктор, который Иван Сергеевич включал, когда передавали важные сообщения. Доклад Маленкова слушали всем коллективом бухгалтерии. Его сообщение о том, что в СССР создана атомная бомба, присутствующие восприняли с энтузиазмом. Долго обсуждали доклад Хрущева об изменениях в Уставе партии: замену Политбюро Президиумом, увеличение численности Секретариата ЦК и самого ЦК, состав которого удваивался. С особым вниманием прослушали краткое заключительное слово Сталина, пытаюсь вникнуть в его истинный смысл.

Вскоре я узнал, что на втором этаже здания, в котором находился леспромхоз, располагался недавно образованный трест “Енисейсклес”, в ведение которого перешли все лесозаготовительные организации края, расположенные к северу от транссибирской магистрали. Главный бухгалтер треста, Михаил Михайлович Машуков, частенько в конце рабочего дня спускался к нам на первый этаж и обсуждал с Иваном Сергеевичем свои бухгалтерские проблемы. Естественно, что я не оставался в стороне, и в глубине души надеялся, что он, когда-нибудь, возьмёт меня в штат комплектуемой им бухгалтерии.

Поиск жилья затянулся. Но и тут, в конце концов, всё устроилось. Удалось снять комнату у “тёти Тани”, так мы звали нашу новую хозяйку. В самом конце той же улицы Бабкина, на которой жили старики, но на три квартала дальше от центра. Средних размеров изба, в центре которой русская печь, поглощавшая, как выяснилось зимой, огромное количество дров и дающая на удивление мало тепла. Внутри избы дощатые перегородки, разделяющие её на три части: две комнаты и кухню. Нам хозяйка предложила большую комнату с тремя окнами, два из которых выходили на улицу, а одно во двор. Самое тёплое место, естественно, у печи. Там мы и поставили Валерину кроватку, ранее принадлежав-

шую хозяйской дочке, Себе кровать соорудили из двух больших фанерных ящиков и старой входной двери, которую заботливая хозяйка принесла нам из сарая. Сооружение получилось шатким и ночью с него то и дело падали подушки. Однако о покупке настоящей, заводской кровати мы в то время не могли и мечтать. Обстановку дополняли вполне приличное хозяйское трюмо, круглый стол и две шаткие табуретки. Зимой дальний угол комнаты промерзал, и мы соскабливали с примыкающих к нему стен полные тазики снега.

Большой проблемой были дрова. Иван Сергеевич помог мне выписать три кубометра обрезков с лесопилки. Но они были сырыми и никак не хотели гореть. Готовила Нина на таганке, в черном закопченном зеве печи, разводя под ним костёр из щепок. Они плохо горели, дым разъедал ей глаза, лицо и руки были в саже. Валерик веселился, а мне было совсем не до смеха. На мне лежала ответственность за благополучие семьи, а оно, по сравнению с положением, в котором находилась Нина в Туруханске, ухудшилось. Из небольшой зарплаты в 450 рублей кроме подоходного налога и довольно ощутимых расходов на дрова и квартплату, обязательный взнос на облигации (около 10%). Следствием чего – весьма скромное питание: картошка, каши, реже макарон. Не добавляло оптимизма и предстоящее возвращение из декретного отпуска замещаемой мною сотрудницы. Снова искать работу? И где?

Много проблем было связано с водой. Водопровода в Енисейске не было, слишком на большую глубину промерзала здесь земля. Воду жители города возили с Енисея в небольших бочках, устанавливаемых летом на тележки, а зимой на санки. Самым трудным местом, особенно зимой, был берег. Подъём, хотя и не очень длинный, но крутой. Вода из бочек выплескивалась, подъём превращался в каток, ноги скользили, особенно у тех, кто, как и я, был обут в ботинки. Обычно по воду ходили двое: один тянул, другой толкал. Я же, как правило, ходил в одиночку, Нина последнее время чувствовала себя неважно.

Стихийным бедствием для нас была стирка. Полоскать бельё полагалось на Енисее. Летом на специальных мостках, зимой в прорубях. Руки коченели, мокрое бельё превращалось в жёсть. Так делали все, и Нина не решалась нарушать эту традицию. Я стоял рядом, периодически согревая Нинины руки, но заменить её не мог. Против этого она категорически возражала, не хотела, чтобы над нами потешался весь город.

В начале ноября Нина почувствовала себя плохо. Её тошнило, появилась слабость, головокружение. Врач объявила: “Ждите ре-

бёнка”. На первых порах эта новость ошеломила меня. Родить второго ребёнка, когда нет постоянной работы, нет денег, нет приличного жилья. Это было безумием. Но внешне я всеми силами выражал радость. Обнимал, целовал свою Нину. Но она, прочтя в моих глазах тревогу, заплакала. Я успокаивал её, говоря, что сумела же она одна в ещё более тяжёлых условиях родить и вырастить Валерика, так неужели мы вдвоем не справимся с этой задачей, не вырастим Ромочку.

– Какого еще Ромочку? - удивилась Нина.

– Ромочку, Ромуальда, которого ты родишь и которого мы вместе вырастим и воспитаем.

– А почему ты решил, что это будет мальчик, а не девочка, Соня, Софушка, например, или Наташа?

– Соня будет следующей. Обязательно будет. Будешь рожать до тех пор, пока у Валерика и Ромочки не появится сестренка.

Я успокаивал её, а на душе скребли кошки. Положение действительно было отчаянным. Найти постоянную работу не удавалось, в квартире холод и сырость, денег на оплату квартиры не было, на еду тоже. А тут ещё два раза вызывали в комендатуру, выясняли, каким образом при освобождении я «ухитрился» получить паспорт и почему больше года не прописывался. Нине об



*Енисейск.
Я, Нина и Валерик*

этих вызовах я ничего не сказал. Ведь её и без того постоянно мучила одна и та же мысль: «Робочка пожертвовал собой, своим будущим, возможностью поступить в аспирантуру и в этом виновата я». В таких случаях мне приходилось подолгу успокаивать её, уверяя, что все равно не смог бы жить без неё и Валерика, а математикой смогу заниматься и здесь, надо только найти постоянную работу.

С Валериком мои отношения складывались без особых проблем. Рос он послушным, самостоятельным и аккуратным мальчиком. Не капризничал, и никогда не выпрашивал подарков. Нина, шутя, спрашивала:

– И в кого у него такое чувство внутреннего достоинства? Знал Валерик много детских стишков, считал до десяти, и с удовольствием «читал» свой букварь, любил раскрашивать картинки, но букварь не пачкал. Я по вечерам читал

ему книжки, рассказывал сказки. Возвращаясь с работы, постоянно приносил ему и Нине хоть немного конфет, в основном «подушечки», а после ужина мы втроем ходили гулять, и я катал его на санках, которые тетя Таня разыскала где-то в глубинах своего разваливающегося сарая. Был у него один недостаток: он никогда не просил прощения. Меня это его, как я считал, упрямство, раздражало, и я спрашивал у Нины:

– Это, что тоже проявление внутреннего достоинства? Неужели так трудно попросить прощение? Как же он будет жить дальше, когда вырастет? Это так усложнит ему жизнь.

Нина, защищая Валерика:

- Конечно, его надо научить извиняться, но не так, как это делаешь ты, извиняешься даже тогда, когда ни в чем не виноват. Это тоже вряд ли правильно.

Я спорить не стал, хотя с детских лет привык просить прощение не выясняя степени своей вины, и не находил в этом ничего плохого.

Это несовпадение взглядов на одну из проблем воспитания стало причиной того, что я однажды отшлепал Валерика, о чем до сих пор жалею.

В то утро Нина, смеясь, рассказала, что ночью ей снился глупый сон: она гонялась за куском колбасы, который всё время от неё ускользал. А когда всё-таки поймала и стала жевать, то проснулась, обнаружив, что сосёт угол пододеяльника.

Посмеявшись вместе с ней и Валериком над таким символическим сном, я в обеденный перерыв, попросил Ивана Сергеевича, купить в райкомовском буфете немного колбасы и тут же, не откладывая до конца рабочего дня, отнёс ее Нине. Но она есть колбасу до моего возвращения с работы не стала. Только дала два кусочка Валерику. Когда же вечером стала готовить ужин, то обнаружила, что колбаса исчезла. Оказалось, её взял Валерик и угощал ею на улице своих друзей. Последнее обстоятельство особенно огорчило Нину:

- Ну, съел бы сам, а то раздал неизвестно кому, не подумав о матери! – с беспокойством объясняла она мне ситуацию.

- А может быть это как раз хорошо, вырастет добрым, - не очень уверенно пытался я успокоить ее. – Надо просто убедить его, что так поступать нехорошо.

- Быть добрым за чужой счет?! – не то вопросительно, не то утвердительно воскликнула она. – Ладно, ты педагог, ты и объясняй, а я пойду, позову его.

Пришел Валерик, покрасневшийся, счастливый и стал что-то рассказывать Нине. Она молча сняла с него пальтишко и шапку, и со словами «не переусердствуй», ушла на кухню.

Приступая к воспитательной акции, я, прежде всего, прикрыл дверь.

- Валерик! Ну, как ты мог? Ведь эту колбасу я купил маме. Она так ее хотела, - начал я.

- Я тоже, - возразил Валерик.

- Но мама болеет, ей нужна колбаса, - пытаюсь объяснить ситуацию своему трехлетнему сыну.

- А разве колбаса - это лекарство?

- Нет, это не лекарство, но маме её нужно есть.

- Мне тоже.

- И ты съел весь кусок?

- Нет, я дал попробовать друзьям.

- Но ведь эта была мамина колбаса. Если бы она была твоей, ты мог бы её съесть сам или раздать своим друзьям. А так ты поступил нехорошо, и надо попросить у мамы прощения. Ведь ты уже большой и умный мальчик, пойдя же и попроси у мамы прощения.

Он молчал, уставившись в пол. Я начал объяснять ему, что когда человек совершает ошибку, обижает кого-нибудь, то просит прощения. Приводил примеры из сказок, правда, их оказалось на удивление мало. Завершая беседу, сказал:

- Ты сейчас пойдешь к маме и скажешь: «мамочка прости, я больше так делать не буду», хорошо?

Он продолжал молчать, не отрывая глаз от пола.

Его упорство, нежелание признать вину и попросить прощения, возмутили меня. Желая продемонстрировать строгость, я пару раз шлепнул его по попе. Он заплакал, надеюсь не от боли, ведь он был в теплых штанишках, а от обиды. Плач услышала Нина. Вошла. Молча одела Валерика и, отправив на улицу, стала упрекать меня в том, что я не люблю его, отношусь, как к чужому. Мы поссорились, первый раз после приезда в Енисейск. Расстроенный я вышел на улицу и, шлёпая рваными ботинками по сырому снегу, направился в центр, размышляя о превратностях воспитания.

Темнело, Енисейск погружался в сон. Бледный лунный свет заливал окрестности. Машинально пройдя два квартала, я, наконец, остановился перед давно интриговавшим меня строением. Сложенное из красного кирпича с высокими как в католических церквях проемами окон, оно возвышалось над примыкающими к нему серыми покосившимися домиками. И хотя часть крыши была снесена, а оконные рамы и дверь безжалостно выломаны, я без труда представил себе, как выглядело это здание в прошлом.

Остроконечная крыша, цветные витражи, массивная парадная дверь с большой бронзовой ручкой, высокое крыльцо, навес чугунного литья.

Какая сила и ненависть двигала людьми, разрушавшими и не сумевшими разрушить до конца это здание? Что-то таинственное было в нем. Отсветы загадочной прошлой жизни отражались в мерцающих осколках стёкол. Не первый раз встречался я с такими домами: дом Асеева в Тамбове, гостиница в Чердыни, жилой дом купца Гадалова на улице Парижской Коммуны в Красноярске. И всегда они заставляли со щемящей болью сжиматься моё сердце.

Сколько я простоял перед таинственным домом, рисуя в своём воображении запущенный парк, куст роз и серого соловья из любимой мною сказки Оскара Уайльда, не помню. Очнулся только тогда, когда обнаружил возле себя Нину с Валериком. Он обнял меня за ноги и прошептал:

– Пойдём папа домой, не сердись.

Я не сердился, душа моя успокоилась и была готова к примирению и любви.

Наступил ноябрь. Не успели поблекнуть плакаты и лозунги, приветствовавшие участников девятнадцатого съезда, как началась подготовка к ноябрьским праздникам. Красные полотнища стирали, гладили и на них писали новые лозунги, призывы и приветствия, содержание которых специально утверждалось высшими партийными инстанциями и публиковалось в «Правде».

Прошли праздники, как обычно, в митингах, демонстрациях и застольях. Нина, чтившая и отмечавшая все революционные праздники, тоже приготовила праздничный обед: борщ и жареную картошку и даже пыталась уговорить меня выпить рюмочку вина. Но мне было совсем не до праздников. Денег не было, срок, отведенный на работу в конторе, сокращался, Машуков молчал, хотя, как мне стало известно, имевшиеся в тресте вакантные ставки бухгалтеров и счетоводов были заполнены только в последние дни. К тому же надвигалась зима, а я был практически раздет, да и Валерику нужны были новая шубка и валеночки. В этих условиях Нинино праздничное настроение раздражало. Пройти через лагерь, столько увидеть и ничего не понять. А тут еще это радио, с утра и до вечера кричащее о счастливой жизни советских людей. Я был на грани срыва.

И все же борщ и картошку я съел, тем более что готовила их Нина отменно, а вот от вина категорически отказался:

- Я эти твои партийно-комсомольские праздники отмечать не намерен, - сказал я тихо, сквозь зубы.

Сказал и тут же спохватился. Какое ребячество, какая несдержанность! И за что я обидел Нину. Зачем сказал «Эти твои»? Но было уже поздно. Нина, которая во всех других вопросах обычно со мной соглашалась, теперь возмутилась:

- И вообще это не комсомольский праздник, а всенародный, а значит и твой. Мой отец воевал в Чапаевском отряде, а потом в сорок первом погиб на фронте. Так как же я могу не отмечать этот праздник? – и немного помолчав, со слезами в голосе, добавила:

- И вообще, что тебе сделал комсомол, и почему ты меня так ненавидишь?

Я знал, что в разговоре с Ниной касаться этой темы было нельзя, тем более при теперешнем её состоянии. Надо было исправлять ситуацию. Но полностью перестроиться, и признать, что сказал глупость, не мог:

- Нинок, родная, с чего ты взяла, что я тебя ненавижу, какая тут связь с комсомолом? – стал оправдываться я. И тут же, не дав ей ответить, добавил:

- Да и отца твоего не хотел обидеть. Ведь ты знаешь, что День Победы я всегда отмечаю, как могу, конечно. Не обязательно же при этом водку пить, - довольно неловко оправдывался я.

Но Нина проигнорировала мою попытку перевести разговор на отца:

- Как это нет связи? Ты же знаешь, что вся моя жизнь была связана с комсомолом, отдана ему.

- Но, Ниночка, родная моя, посмотри, как они поступили с тобой. Неужели ты так ничего и не поняла? – не выдержал я.

- А что я должна понять? Я любила свою работу, любила людей, хотела, чтобы в их жизни было больше радости, смысла. А то, что меня выбрали секретарем комсомола, что приняли в партию, разве я в этом виновата? И вообще, если бы Малых не оказался таким подлецом, все могло бы сложиться иначе.

- И мы бы не встретились с тобой, - стремясь свести все к шутке, промолвил я, и попытался ее поцеловать. Но она, отворачивая мокрое от слез лицо, сказала:

- Робочка! Робочка! Не обижай «нас»!

Я смотрел на дорогое мне лицо, на котором уже обозначились предродовые пятна, и думал: «А ведь будет мальчик».

Потом вечером, уже лежа в постели, я снова и снова мысленно возвращался к нашему разговору. Насколько, все-таки разным было наше отношение к жизни, наше восприятие происходящего. Нина то ли не хотела, то ли не могла связать, то, что произошло лично с ней, с тем, что происходило в стране. Для нее такие поня-

тия, как комсомол, партия, революция, вождь, как были, так и остались священными. Ее отношение к ним было сродни тому, что могла бы испытывать дочь к сильно и незаслуженно обидевшей её, но родной и любимой матери. Я понимал её, но принять такую позицию не мог. Это несовпадение осложняло наши отношения, а споры были мучительны и бесполезны. Мы явно не понимали друг друга и ещё долго, уже в темноте ночи, продолжали свой, теперь уже молчаливый спор.

Прошло два дня. Я шёл по улице Ленина, ещё не прибранной после праздников. Шёл на работу. На зданиях плакаты, лозунги, портреты вождей. В витринах два числа: 19 и 35, а также, пока ещё непривычная для глаз, аббревиатура: «КПСС». Выложенные консервными банками, папиросными и спичечными коробками, а то и конфетами, они символизировали 19 съезд партии и 35-ю годовщину Великой Октябрьской революции. Настроение было плохим. К многочисленным и практически неразрешимым бытовым проблемам теперь добавилась мысль о причинах и возможных последствиях нашей с Ниной ссоры. Внешне мы помирились, но в глубине души каждый из нас остался при своем мнении и огонь мог вспыхнуть в любой момент, из-за любого пустяка. И чем все это могло кончиться, я не знал. Мысли мои беспомощно металась, ища выхода из свалившихся на меня проблем, но не находили решения. Жизнь казалась беспросветной, и напоминала туннель, из которого не было выхода.

Но в тот день меня ждал приятный сюрприз: Машуков предложил мне должность заместителя главного бухгалтера треста. Это было полной неожиданностью. Меня, бывшего лагерника, не имевшего никаких официальных документов, подтверждающих профессиональную подготовку, не имеющего даже паспорта, пригласили на такую высокую должность. Но, не будут ли возражать в комендатуре? Это было очень важным моментом. Без согласия и одобрения коменданта ни одного ссыльного, ни одного спецпоселенца никто не мог назначить на сколько-нибудь ответственную должность. Так что моя радость могла оказаться преждевременной. Но Машуков успокоил, сказав, что решение принято Встовским, управляющим трестом, очень опытным и известным в крае партийным и хозяйственным деятелем, который не мог принять такого решения, не согласовав его в необходимых инстанциях.

Конечно, я согласился. Не прошло и часа, как приказ о моём назначении был подписан и я мог приступить к своим обязанностям. Определяя их круг, Машуков сказал:

- Вы очень убедительно рассказывали, как можно организовать хозяйственный расчёт в лесной промышленности. Ваши идеи мне понравились. Попробуйте их теперь реализовать. Кроме того, Вам придётся принимать и анализировать квартальные и годовые отчёты леспромхозов и делать сводный отчёт.

Я был счастлив. Лучшего предложения трудно было ожидать. Хозрасчёт в лесной промышленности был моей излюбленной темой. По ней я, ещё в Кушмангорте, помогал Ершову писать дипломную работу. Составлением же сводных отчётов я занимался последних два года в сводно-аналитическом отделе Усольлага МВД. Эта работа была мне хорошо известна.

Окрылённый успехом, я, не дожидаясь конца рабочего дня, помчался домой. Нина встретила новость спокойно:

– Я всегда знала, что твои знания, твою работоспособность оценят, не могут не оценить.

Сначала я хотел даже обидеться, но потом понял, что моя радость – результат разрешения казавшихся неразрешимыми проблем. Нина же избалованная моим авторитетом в Кушмангорте, считала, что и здесь, в Енисейске, работа мне будет обеспечена. Ее теперь интересовала зарплата. Но как раз о ней спросить Машукова я постеснялся:

- Выдадут, узнаем, - с сомнением сказал я.

В середине января 1953 года в прессе и по радио начался шум по поводу «террористической группы врачей». Пятнадцать известных медиков обвинялись в том, что, пользуясь своим высоким положением в Кремле, они в 1948 году умертвили Жданова, и покушались на жизнь других крупных политических и военных деятелей страны.

Люди к таким новостям уже привыкли. Последнее время велась активная борьба с космополитизмом, и газеты то и дело писали об очередных разоблачениях и процессах. Там же читатели выражали своё возмущение, свой гнев по поводу действий безродных космополитов, правда, выражали их как-то абстрактно, одинаковыми, штампованными фразами.

Но вскоре я столкнулся с подобными обвинителями лицом к лицу. Стоял сильный с ветром мороз. На дощатой трибуне центральной площади человек десять. Среди них, судя по выглядывающим полам белых халатов, несколько врачей. Вокруг толпа с транспарантами. Рабочие немногочисленных предприятий города, служащие, старшеклассники. Некоторые из них пришли сюда, движимые чувством патриотизма, другие, как и я, по принуждению.

У микрофона молодая женщина, в очках. Читая по бумажке, выкрикивает что-то гневное в адрес «наёмных убийц». Из рта с каждым словом вырывается облачко пара, и она то и дело протирает запотевающие стёкла очков. «Колокола» простужено хрипят. Слова понять трудно. Но общий их смысл ясен:

- Смерть убийцам, позорящим святое имя врача! - требовала оратор.

Было страшно. Особенно угнетало, то, что врачей клеймили врачи, клеймили, ничего толком не зная, ни в чём не разобравшись, с чужих слов, науськиваемые преступными политиками. А в каких выражениях, какими словами. Закрыв глаза и представил брызжущую слюной, ругающуюся торговку.

В двадцатых числа января 1953 года стали съезжаться старшие бухгалтера леспромхозов. Я обосновался в кабинете Машукова, где принимал годовые отчёты. Их низкое качество поразило меня. Данные, приводимые в отчётных формах, не сходились с данными баланса и между собой. Объяснительные записки не разъясняли сути проблем. В ряде случаев бухгалтера не могли объяснить причины расхождений и устранить ошибки. Пытаясь найти ко мне подход, стали приглашать в ресторан. Но я отказался наотрез. Машуков потом рассказывал мне, что как-то вечером они, беседуя с ним, стали возмущаться:

- И где это только Вы ухитрились раздобыть до такой степени непьющего бухгалтера?

Но вскоре всё наладилось: я просиживал ночи напролёт, исправляя отчёты, а бухгалтера гуляли в ресторане. Такое распределение обязанностей их устраивало. После завершения работ они, по совету Машукова подарили нам с Ниной широкую двуспальную кровать с модной тогда панцирной сеткой.

Постепенно появились, если не друзья, то хорошие знакомые, готовые выручить в трудную минуту. Особые отношения сложились у меня с Машуковым. Крупный, костистый, с лицом, изрытым оспой, скупой на слова и часто даже грубоватый, он писал детские стихи, стихи лаконичные и нежные. Их периодически печатали в газете «Енисейская правда». Естественно, что у нас с ним было о чём поговорить, и не только о бухгалтерских делах. Изредка, в основном по праздникам бывали мы у Кулаковых.

Казалось, всё у меня складывалось наилучшим образом. Я даже стал забывать о своём лагерном прошлом и национальности. Стал считать себя равным окружавшим меня людям. И вдруг всё в одночасье рухнуло. Двадцать восьмого января 1953 года меня вызвали в комендатуру и объявили под расписку, что отныне я, как

лицо немецкой национальности, закрепляюсь в Енисейске на вечное поселение и должен два раз в месяц отмечаться в комендатуре.

Хотя о такой возможности еще в Туруханске меня предупреждал Колягин, эта новость настигла неожиданно. До этого оставалась надежда, что паспорт мне всё же вернут. Ведь сказала мне паспортистка в Соликамске, что я не подлежу закреплению. Наверное, у неё была соответствующая инструкция. Так почему же здесь, в Енисейске, эта инструкция не действовала? А ведь до окончания срока Нининой ссылки осталось меньше полутора лет, по истечению которых мы могли бы уехать в более теплые места. Теперь же планам нашим не суждено было исполниться. И что я теперь скажу Нине. Ведь она уже на пятом месяце беременности, и врачи так просили оберегать ее от стрессов.

Я вышел. Как и в прошлое наше с Ниной посещение комендатуры, скрипнув, захлопнулась, притянутая жесткой пружиной, дверь. Но снаружи была уже не осень, а самая, что ни на есть ненавистная мне зима. Мороз за сорок. Снег, похожий на крупу, скрипит под ногами. Голые и такие несчастные в стужу деревья слегка потрескивают от мороза. Ссутулившиеся и бесформенные в зимней одежде фигуры появляются и вновь исчезают в дымке зимней стужи. И только он, величественный в своей беломраморной плоти, также как четыре месяца назад, зло ухмыляется мне из-под своих заснеженных усов.

- На вечное поселение, - мысленно возмущался я, – уж лучше бы направили в ссылку. Там хоть срок указывается. А здесь «навечно», и слово-то, какое. Интересно, а сам то он считает себя вечным, - подумал я, глядя на фигуру вождя.

Настроение было ужасным, на много хуже того, с которым мы с Ниной покидали это заведение четыре месяца назад. Тогда все же оставалась надежда, что паспорт мне вернут. Теперь этой надежды уже не было. Петя оказался прав. Нам вряд ли суждено повидаться еще раз. Душу жгла обида, и я не чувствовал мороза.

- И зачем только предки приехали в Россию, на что надеялись, почему в годы революции не вернулись в Германию или не уехали в Америку, и вообще как меня угораздило родиться немцем! – продолжал кипятиться я. – А им там, в Германии, что не сиделось, чего полезли на Восток.

Еще до войны, заполняя многочисленные анкеты, я замирал при необходимости писать «немец». Впоследствии чувство вины за действие соплеменников многократно усилилось и преследовало меня многие годы. Но отказаться от своих немецких корней я не

мог и не хотел. Я любил своих родителей, сестёр, родственников, любил немецкий язык, читал немецкие книги, наслаждался стихами Гёте, Шиллера, Гейне. Более того, я мечтал, что научу Нину и детей говорить и читать на немецком языке, и мне было больно, когда Нина в письме к Ольге Федотовне представила меня как поляка. И хотя я понимал, что ей не хотелось, чтобы в Отрадовке стали её осуждать: «А Нина в мужья взяла немца», мне этот её поступок был неприятен.

- Ну, выслали немцев, это еще можно понять: опасались, хотя и напрасно, предательства, мстили за зверства гитлеровцев на нашей земле. Да и вообще, для России иноземцы, даже приглашенные высшей властью, всегда оставались чужими, приносящими России только вред. Но зачем же татар, калмыков, ингушей и чеченцев выслали, они же жили на своих исконных землях – продолжал возмущаться я.

В те годы в нашей стране иметь неподходящую национальность было делом даже более опасным, чем разделять неподходящую идеологию. Довольно распространенная в те годы практика, когда дети для своего спасения отрекались от своих осужденных по политическим статьям родителей, при высылке по национальному признаку не помогала. Если ты родился немцем, татарин, калмыком или чеченцем, то должен был безвыездно жить в отведенной тебе резервации.

Понимая бессмысленность и опасность подобных мыслей, сосредоточился на последствиях происшедшего. Прежде всего надо было сказать Нине правду, объяснив, что она тут ни при чём, и моё «спецпоселение» могло случиться где угодно, в том числе и в европейской части России. При чем неизвестно в какую область Сибири меня бы выслали, и смогли ли бы мы объединиться. Главное, что бы она не чувствовала себя виноватой.

Но получилось всё не так, как я планировал. Не успел я раздеться, как Нина, по-видимому, встревоженная выражением моего лица, спросила:

- Что случилось, почему у тебя такое кислое лицо?

Я, не готовый сразу начинать тяжелый для меня разговор, начал её уверять, что все в порядке, а лицо кислое, наверное, от мороза.

Но так просто отделаться от Нининых вопросов было невозможно. Они сыпались как из рога изобилия, и я совсем запутавшись, был вынужден признаться в случившемся. Полушутливый тон, которым я сообщил ей о том, что взят на спецпоселение как немец, только все испортил.

- Вот видишь, я была права, тебе надо было оставаться в Тамбове, поступать в аспирантуру, и строить свою судьбу, не оглядываясь на нас.

Мне хотелось сказать, что таких предложений она никогда не высказывала, что в такой форме их не высказывал даже Петя, но вместо этого произнес заранее приготовленную фразу:

- Как ты не понимаешь, что моё «спецпоселение» могло случиться где угодно, в том числе и в европейской части России. При чем неизвестно в какую часть Сибири меня бы выслали, и смогли ли бы мы объединиться.

- Поэтому ты и поехал к нам? А если бы был уверен в противном, то остался бы в своём Тамбове, да? – продолжала наступать Нина.

Всё шло не так, как я планировал, и, скорее всего, должно было закончиться слезами. Надо было срочно менять направление разговора.

- Не говори глупостей. Откуда я мог знать, что еще придумает наше государство, и куда уйдет своих российских немцев. А ведь они даже раньше других народов России начали организовывать коммуны и колхозы. И вообще, не немцы ли разработали идеи социалистического общества. А теперь, государство, разгромив гитлеровские полчища и создав ГДР, у себя на родине продолжает мстить своим ни в чем не повинным немцам. Даже ты стесняешься того, что я немец, ведь так, признайся?

Несколько минут Нина молчала, пытаясь переварить весь этот сумбур, а потом с грустью сказала

- Робочка, если бы ты знал, как я люблю тебя, то никогда не говорил таких глупостей.

- Но признайся, твоё чувство было бы глубже, сильнее, если бы я был русским?

Подумав, Нина с сомнением сказала:

- Наверное ты прав, хотя мне трудно представить чувство более сильное и глубокое чем то которое я испытываю к тебе. А ты, хотел бы, чтобы я была немкой? – вопросом на вопрос ответила Нина.

Теперь настала моя очередь задуматься. В слишком глубокую и опасную область человеческих отношений завела нас наша беседа.

- Ты знаешь, если иметь в виду постель, то, наверное, мне глубоко безразлична твоя национальность. Более того, как мне кажется, я не хотел бы, чтобы ты была немкой. Но когда я думаю о детях, о семье, то должен признаться, что хотел бы, что бы ты бы-

ла немкой, хотел бы быть уверенным, что думаешь так же как я, что у нас одинаковые привычки и желания.

- Что же нам делать, ведь стать немкой я не могу, – с дрожью в голосе прервала мой монолог Нина.

- Можешь, но это очень трудно. Для этого надо как минимум выучить хотя бы немного немецкий язык, принять его в качестве средства общения в семье, научиться готовить немецкие блюда, привыкнуть к немецким обычаям. Через это в своё время прошла Екатерина Великая. Но ей было проще: во-первых, цель великая, а, во-вторых, среда соответствующая.

Нам же это не обязательно. Всё равно теперь Российские немцы обречены на полную ассимиляцию. Единственное, что я прошу, не мешай мне учить Валерика немецкому языку, не говори, что после всего пережитого тебе противен этот язык.

- Между прочим, до войны, в школе немецкий язык мне нравился, и я по нему получала только пятерки, можешь посмотреть мой аттестат, – выпалила Нина и ушла на кухню.

Я очень жалел, что разговор наш принял такой оборот, но ничего с собой поделаться не мог. Слишком болезненно отнесся я к тому, что случилось. Нина несколько дней ходила задумчивая, потом стала интересоваться, какие немецкие блюда готовили в нашей семье, и главное, как готовили. Как вы понимаете, ответить на вторую часть вопроса мне было совсем не просто, да к тому же Нинин борщ меня вполне устраивал. Позже, в период нашего пребывания у Эрочки она научилась готовить некоторые немецкие блюда, но в семье они так и не прижились.

В первых числах марта радио сообщило о болезни Сталина. Характер сообщения был таким, что позволял думать о худшем. Нину это потрясло. Она впала в уныние и тихо плакала. Я уговаривал, убеждал, возмущался. А она всё твердила:

- Хотя бы выжил, хотя бы выжил!

До сих пор хорошо помню тот день, 6 марта 1953 года. Мороз спал, медленно падали снежинки. Мы шли по улице Ленина по направлению к комендатуре. Нина осунулась, лицо в родовой пигментации, чётко обозначился животик. Из укрепленных на столбах «колоколов» лилась траурная музыка. И вдруг после нескольких мгновений тишины экстренное сообщение:

- Внимание, внимание, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР, с чувством глубокой скорби сообщают, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера, после тяжёлой продолжительной болезни, скончался Ио-

сиф Виссарионович Сталин. Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя коммунистической партии и советского народа.

Левитан ещё долго скорбным голосом зачитывал официальное сообщение, а Нина, вцепившись в мою руку и, прижавшись ко мне, прошептала:

- Что же теперь будет, как теперь жить?

Я, смущаясь её поведением, оглянул улицу. Нина в своём горе была не одинока. То там, то тут виднелись силуэты застывших в оцепенении людей. Кто-то истерично плакал, кто-то напряжённо молчал. Все медленно стягивались к запорошенному снегом беломраморному памятнику Вождю.

С трудом довёл я Нину домой. В душе всё смешалось. Растерянность, торжество, стыд за это торжество, беспокойство за Нину. А она, заметив что-то в моём взгляде, вдруг выпалила:

- Что, радуешься!? - и разрыдалась.

Для неё Сталин по-прежнему значил слишком многое. Буря чувств бушевала в ее душе. И мне в этих её переживаниях не было места. В этот момент я был для неё «чужим», пусть добрым, пусть любящим, но всё же «чужим», «немцем».

Во мне всё kloкотало. От скорби по умершему вождю не осталось и следа. Я ненавидел его и всё, что он олицетворял. И чем больше переживала Нина, тем больше распалялся я. На язык рвались слова, оскорбительные и для Нины, и для всех её комсомольских и партийных идиологов. Но я сдержался и промолчал. И был рад этому. Постепенно Нина успокоилась и затихла. Её порыв к примирению был столь же эмоциональным, как только что опалившая меня вспышка гнева.

В эти дни было трудно не только тем, кто боготворил вождя. Не легче было и тем, кто его ненавидел. Ведь им приходилось скрывать свои чувства, притворяться потрясёнными обрушившимся на страну и на них лично горем. Мне же приходилось притворяться не только на работе и на улице, но и дома, и это было особенно тяжело.

А в это время в Москве шли таинственные и непонятные простыми смертными процессы. Менялись стоящие у руля государства люди: Маленков, объединивший после смерти Сталина партийную и государственную власть, поделился ею с Хрущёвым, занявшим пост секретаря ЦК. Был распущен секретариат Сталина и вслед за этим 27 марта - объявлена амнистия заключённых, чей срок не превышал пяти лет. Естественно, что коснулась амнистия, прежде всего, уголовников, и лишь в незначительной степени политиче-

ских. Ведь у подавляющего большинства из них сроки были от десяти до двадцати пяти лет.

Четвертого апреля 1953 года «Правда» объявила, что «врачи-убийцы» стали жертвами провокации и что их «признания» были на самом деле получены путём применения «недопустимых и строжайше запрещённых советскими законами приёмов следствия». События получили ещё больший резонанс благодаря постановлению ЦК КПСС: «О нарушении законности органами безопасности». Из него следовало, что дело «врачей-убийц» было не единичным случаем, что госбезопасность, присвоив себе непомерные права, творила беззаконие и что партия, открыто разоблачая её, отвергает эти методы и осуждает всевластие политической полиции.

Все эти ошеломляющие события вселяли надежду. Однако удивляло то, что борьбу за восстановление «социалистической законности» возглавил сам Берия, таинственным образом превратившийся после смерти Сталина в «главного либерала страны».

А между тем в Енисейске наступала весна. Быстро таял снег, обнажая грязь и мусор. На Енисее началась подвижка льда. Ниже Енисейска, в районе поселка Подтёсово образовался затор, преградивший Енисею путь к морю. Уровень воды стал быстро подниматься. Вышла из берегов впадавшая в Енисей Мельничная и стала с тыла подтапливать город. К нашему дому вода подступила со стороны огородов. Затопило и часть улицы Бабкина. Предприимчивые мальчишки, соорудив плоты, за небольшую плату перевозили отрезанных от центра горожан. В городе, особенно в низких его местах, началась паника. Вспоминали 39-ый год, когда даже по улице Ленина плавали катера. Некоторые, не дожидаясь затопления, перебирались к родственникам и знакомым, проживающим в возвышенной части города.

Утром следующего дня, когда положение стало критическим, слышались глухие взрывы. Это бомбили затор. Лёд пришёл в движение. Наползая друг на друга, ломались и крошились льдины. Вода быстро спадала, оставляя на берегу огромные вздыбленные льдины. С голубоватых, искрящихся в лучах весеннего солнца изломов, капала вода. В напоённом влагой воздухе стоял шум крошащегося льда. Весь берег был усыпан людьми, ведь ледоход - это исконный праздник северян. Среди них и мы с Ниной. Любуемся небывалой мощью реки.

Через несколько дней состоялся наш переезд на новую квартиру. Посёлок на окраине города, недалеко от городской тюрьмы. Она хорошо видна за тощей рощицей ёлочек, особенно по утрам в

лучах восходящего солнца. Огромное кирпичное здание, построенное ещё в царствование Екатерины II и окружённое высокой каменной стеной с традиционными сторожевыми вышками. По сравнению с ней наши щитовые домики казались игрушечными. Собирались они из специальных щитов, сколоченных из узких и тонких, подогнанных друг к другу пазами, досок, которые в быту называли вагонками. Между ними прокладывался слой стружек, отделённый от досок плотной чёрной бумагой. И хотя толщина таких щитов не превышала 8 сантиметров, они, по оценке специалистов, первые годы могли неплохо держать тепло. Для того чтобы в таких домиках не замерзали жильцы строители, прежде всего, должны были хорошо заделать стыковочные швы и соорудить завалинки. Но последнее, как правило, не делалось. Дома стояли на сваях, как на курьих ножках и продувались не только с боков, но и снизу. Полы от этого были холодными, и Нина застилала их домоткаными ковриками.

Каждый такой дом делился на четыре двухкомнатные квартиры. Несмотря на их малые размеры и отсутствие самых минимальных удобств, мы с Ниной были несказанно рады. Теперь у нас был угол, в котором мы могли укрыться, если не от властей, как англичане, у которых «мой дом - моя крепость», то хотя бы от посторонних людей. Радовало и то, что в посёлке был колодец, и это освобождало нас от необходимости ездить по воду на Енисей. Правда, теперь путь до центра города, а, следовательно, до места работы, удлинился почти в два раза, и я лишился возможности обедать дома. Но я был молод и любил ходить.

Там, в поселке мы познакомились с медицинской сестрой городской больницы Эрной Андреевной Зайдель. Больные в ней души не чаяли. Да и дома к ней за помощью обращались все жители нашего поселка. Наши дома стояли друг против друга, и она часто бывала у нас. Ее муж, прекрасный столяр работал в какой-то местной артели, неплохо зарабатывал. Как и я, немец, он в отличие от меня был горьким пьяницей. При чем не просто пьяницей, а пьяницей - скандалистом. Каждый месяц, получив зарплату, пропивал ее до копейки, и пьяный рубил в квартире все, что попадало под руку. На следующий день, протрезвев, начинал заново обустроить квартиру, благо руки у него были золотые. Мне не раз, на правах соплеменника, приходилось его успокаивать, из-за чего Нина устраивала мне скандалы:

- Ты, что, с ума сошел? Ведь у него топор в руках! Мало ли что ему может взбрести в голову, - и немного помолчав, добавляла –

Ты что, забыл, что мы ждем Ромочку, хочешь двух сирот оставить?

Несмотря на смерть Сталина, и осуждение многих действий органов госбезопасности, армия репрессированных граждан страны не сокращалась.

Ничего не изменилось, в частности, и в нашем с Ниной гражданском статусе: Нина оставалась ссыльной, а я спецпоселенцем.

В ту далёкую пору было мне 32 года, Нине 30, Валерику 4. До рождения Ромочки оставался всего один месяц.